

Лидия Егоровна, или, как звали ее правнучки, Ида, в очередной раз проснулась от холода – соскользнувшее одеяло лежало на полу. Она, не открывая глаз, повернулась, свесила руку и втащила его обратно. Повела плечами, устраиваясь поудобнее. Холодное и неприятное, точно сырое, одеяло обожгло щеку.

В щель между шторами полз бледно-серый свет, спать не хотелось.

Иде шел восемьдесят пятый год. Несколько лет назад дочь привезла ее к себе в Петербург. Из квартиры Ида почти не выходила – климат не баловал, а здоровье в какой-то момент ухудшилось. Да и желания особенного не было – город уже не удивлял, а родным так и не стал.

Где-то зазвонил телефон. По коридору простучали шаги, и Ида услышала густой бас Сережи – зятя. Постукивали несмело настенные часы. Четверть девятого.

Угловатые, громоздкие мысли толпились в Идиной голове, а среди них в самом центре ворочалась неясная тревога. Причиной тревоги был странный, неожиданный сон – непохожий на те сны, которые Ида привыкла видеть.

Обычно ей снились разговоры с домочадцами, ни слова из которых запомнить не удавалось. Или ее комната, залитая серым светом. Или стол с клетчатой скатертью. Снились бесконечные коридоры, пыльные тряпки, белый потолок и собственные руки. Сниться могло многое, но сны казались какими-то вялыми, тусклыми и вымывались из сознания через минуту после пробуждения. В этот раз все было иначе.

Не к месту приснилась Ирка Калачева, школьная приятельница, озорница и хохотушка, проучившаяся с Идой два года, а затем увезенная родителями то ли в Америку, то ли в Австралию. Во сне Ирка, на вид лет сорока, показывала Иде свою квартиру – пустую, с высоченными потолками. Ни мебели, ни ковров, ни даже картин – бледные обои с невыразительным рисунком и скрипящий под ногами паркет.

– Ирка, – спросила Ида и вздрогнула от зазвеневшего эха, – а мебель где?

Ирка подняла брови:

– Мебель?

И вышла из комнаты.

Ида шагнула к окну – напротив громоздились небоскребы. Верхние этажи терялись в облаках. Сотни черных окон равнодушно смотрели на Иду.

Зашумели шаги, вернулась Ирка с двумя платьями в руках.

– Ида, – сказала она, – так какое надеть?

Ида прищурилась – все было как в тумане.

– Ну что ты шуришься? – всплеснула руками Ирка и скривила губы. – Слушай, душно как.

Она проскользила к окну и дернула ручку. В комнату хлынул ледяной воздух – Ида вздрогнула и проснулась.

Она лежала в кровати, тянула одеяло к подбородку, смотрела на щель между шторами, прокручивала в мыслях странный сон. Ирку она не видела со школьных лет, и в памяти она так и осталась тощей, рыжей и бледной; какой она выросла, Ида не знала и знать не могла. Ида силилась связать какие-то нити, сложить какие-то образы, но чем сильнее она напрягалась, тем тоньше становились черты и тем дальше уплывало от нее Иркино лицо; мысли дрожали и тонули в мягком сыром тумане.

Из-за стены раздался звон – на кухне что-то упало. Ида медленно села, потеряла лицо сухими ладонями. Опираясь о тумбочку, встала и принялась одеваться.

Когда она вошла на кухню, завтрак был уже окончен. Сережа допивал кофе, листая журнал, Марина, Идина дочь, мыла посуду. С подоконника сыпался непрекращающийся бубнеж радио.

– Привет, мам, – обернувшись, окликнула Иду Марина.

– Доброе утро, – поздоровался Сережа.

Ида улыбнулась, кивнула и села.

– Как спалось? – поинтересовалась Марина сквозь плеск воды.

Сережа вдруг заинтересованно вскинул голову и нахмурился; потом протянул руку под занавеску – и радио забубнило громче.

– Ничего, – пожала плечами Ида.

Перед ней возникла чашка с бледным, желтоватым чаем и тарелка с кашей. Марина зазвенела ящичками и вручила матери ложку.

– Горячая, ешь аккуратно, – сообщила она.

Ида, зачерпнула из тарелки, поднесла к губам, подула.

– А у нас, – заговорила Марина, – старая песня. Клавдия опять прикармливает голубей.

Ида пожала плечами и закашлялась – горло обожгло.

– Мама. Говорила же – горячо.

Сережа покачал головой. Затем отложил журнал, встал, потянулся.

– Я все, уехал.

И вышел.

Марина распахнула холодильник, заглянула в него и крикнула вслед мужу:

– Сережа! Купи рыбы!

– Хорошо! – отозвался глухой голос из прихожей, потом послышалась какая-то возня, брэнчание ключей. Через несколько секунд грохнула дверь.

Марина вернулась к раковине, вновь зашумела вода.

– Я ей говорю, – продолжила она, – ваши голуби мне житья не дают, а она – можешь ты себе представить? – руками разводит, моргает, а сказать ничего не может.

Она притихла на минуту, – и вдруг резко обернулась.

– Слушай, мам, а она не немая?

Ида опустила поднесенную ко рту чашку и пожала плечами.

Двумя этажами выше жила таинственная Клавдия – по-видимому, пенсионерка, – щедро снабжавшая пшеном голубей, которые с готовностью слетались к ее подоконнику со всей округи. Эта Клавдия, которую Ида ни разу в жизни не видела, была для Марины с ее стремлением к чистоте постоянным раздражителем: выступ, к которому примыкало окно их кухни, находился под постоянным гнетом птиц; смотреть на него без слез было невозможно.

Какое-то время молча занимались своими делами – Марина протирала столешницы, расставляла посуду, Ида тянула чай и мяла во рту остывшую кашу. Потом зазвонил телефон и Марина, вытирая ладони о фартук, двинулась в коридор.

Ида осталась одна.

– ...вы даже представить себе не можете, в каких условиях большинство из них живет, – бормотало радио проникновенно, – в нравственном смысле они недалеко ушли от крепостных, которых в позапрошлом веке было не зазорно выпороть за малейшую провинность. И все молчат, и все соглашаются. И никто ничего не делает. Ничего не меняется, верьте мне, ничего. Эти вот на предпоказы ходят, театральные сезоны открывают, награды получают, а между тем мирятся с катастрофической несправедливостью и унижением. Можно бы, кажется, понимать...

Иду стало клонить в сон. Она подтянула к себе Сережин журнал, щурясь, всмотрелась в обложку, осторожно заглянула внутрь, но ничего интересного не нашла – текст серыми лентами полз куда-то вбок, изображения плыли и сливались.

– ...не хватает им, не хватает, понимаете ли, решимости. Их, видите ли, устраивает такая жизнь. Но разве может человека устраивать *это*? А те, кого якобы не устраивает... эти еще хуже, потому что на каждом углу кричат о своей позиции, но мизинцем ради нее пошевелить не хотят. Почему, ответьте, почему они ничего не делают, а только мелют языком без усталости? Порой смотришь в их лица, и такое зло разбирает...

На подоконник приземлился голубь. Он прошествовал от одного края к другому, внимательно посмотрел на Иду, повертел шейю и застыл, точно задумавшись.

– А ну пошел вон! – закричала на него Марина, появившаяся на пороге. Она подскочила к окну и замахнулась на птицу полотенцем. Голубь встрепенулся и ухнул куда-то вниз.

Ида, уже провалившаяся в мутную дремоту, вздрогнула и опрокинула на скатерть чашку с остатками чая. Марина всплеснула руками.

– Мапочка, милая, иди к себе, – она помогла Иде подняться и проводила в коридор, поддерживая под локоть.

Ида засемила вдоль стены.

У своей комнаты она остановилась и позвала:

– Марина!

Из кухни выглянула дочь с всклокоченными волосами.

– А дети? Сегодня будут? – спросила Ида.

– Пока не знаю, – ответила Марина и скрылась.

Послышался звон и плеск. Ида вошла к себе и закрылась.

В комнате царил полумрак – шторы были все еще задернуты. Через тонкую щель на пол сыпался свет. Ида подошла к окну, растянула в

стороны тяжелую ткань, привычно опустилась на стоящую тут же табуретку и, опершись локтем о подоконник, застыла.

Над городом висели угрюмые тучи – казалось, будто они в любой момент могут сорваться со своих гвоздей и рухнуть вниз. Дома смотрели будто из-под опущенных век. По проспекту в обе стороны сновали машины, тянулись трамваи. Монотонное скольжение туда-сюда влекло за собой, окутывало, укачивало. Ида искала точку, зацепившись за которую, можно будет растянуть время бодрствования – плыла по черепицам крыш, по шпильям, по вихрастой лепнине, аркам, колоннам но ничто не занимало ее внимания, все сливалось в сплошное серое полотнище и звало в объятия – мягкие и душные. Ида подняла глаза к небу и смотрела, как над домом кружит стайка голубей – серых на сером. Танец, сперва показавшийся увлекательным, быстро наскучил и превратился в бессмысленное мельтешение. Ида потеряла глаза, пригладила тонкую прядь, соскользнувшую на лоб. Комната таяла в тишине, где-то далеко по квартире порхала Марина, раскладывая, перебирая, выметая и ополаскивая, как сквозь вату доносилось глухое гудение стиральной машины. Медленно, со вздохами тикали на стене часы. Ида не заметила, как голова ее склонилась на грудь, и все соскользнуло в серую мглу.

Ей снилось ведро, до краев наполненное ледяной водой. По бортикам, в тех местах, где краска облупилась или была стесана, чернели прогалины ржавчины; ручка дугой выгибалась над водой, увенчанная деревянным брусочком – чтобы удобнее было держать. Брусочек – покрыт трещинками и вздут. По ручке, как по мосту, неспешно ползла крохотная зеленая гусеница – тоненькое тельце то сжималось, то разжималось. Вот гусеница подобралась к брусочку, ткнулась в него раз другой, прижалась, приподнялась – и упала в воду.

Ида открыла глаза, повернулась к окну.

На той стороне проспекта, у входа в парк, толпились люди. Ида прищурилась, прильнула к стеклу.

На тротуаре лицом вверх лежал человек, рядом с головой чернело какое-то пятнышко – шляпа. Вокруг толпились прохожие и то наклонялись к лежащему, то принимались говорить друг с другом. Кто-то держал у уха телефон. Вдруг человек пошевелился, развел руки в стороны, неловко повернулся, уперся в землю и, поджимая длинные худые ноги, нескладно поднялся, прижимая ладонь к груди. Ему подали шляпу и какую-то палку, валяющуюся тут же. Человек, не отряхивая, водрузил шляпу на голову, крепко схватился за палку, оказавшуюся тростью, и, кивая окружающим, двинулся прочь. Прохожие некоторое время стояли на месте, глядя ему вслед, потом начали расходиться.

На стекле засеребрились какие-то точки – начинался дождь. Из Мариной комнаты послышался равномерный стук клавиатуры.

В час обедали. Марина была чем-то расстроена и почти ничего не говорила, поджимала губы, хмурилась. Вышла из-за стола, не доев. Ида цедила борщ и смотрела, как колышутся занавески; в открытую форточку струился холодный воздух, разливался по кухне, тянулся к щиколоткам, полз в рукава.

– ...а самое смешное, что все смотрят на подобные вещи как на нечто само собой разумеющееся и ни слова не говорят против. Вот до тех пор ничего не изменится, пока наши так называемые граждане будут ходить с опущенными головами и замечать только то, что происходит в радиусе одного-двух метров вокруг них, – горячился приемник.

Ида отложила ложку и встала. Обошла стол, сдвинула занавеску и, ухватившись за ручку, с грохотом закрыла форточку. Откуда-то сверху взметнулись в воздух голуби.

По двору, лавируя между припаркованными автомобилями, нарезал круги мальчонка на велосипеде. Один круг, другой, третий, четвертый... Серо-желтый двор колодцем будто ежился от сырости и ветра. Пятый круг, шестой, седьмой... Внезапно мальчик остановился. Обернулся через плечо и уставился на оцепеневшую Иду. Стоял неподвижно и смотрел, не отрывая глаз. Иду охватила какая-то тоска. Как-то вдруг потемнело над домами небо, взвыл жалобно ветер, а из дряблых серых туч посыпался не то снег, не то град – редкий и мелкий. Он звонко застучал по подоконнику, подскакивая и бросаясь на дно колодца; несколько горошинок удержались на краю, и Ида увидела, что они неприятного бледно-желтого цвета. Она вздрогнула и отпрянула, отгородившись от наваждения занавеской.

В Марининой комнате стрекотала клавиатура. Ида перенесла тарелку с остатками борща к раковине, вычистила ее и сунула под струю ледяной воды.

– ...если бы только открыть им глаза, дать понять, как – как на самом деле можно жить! Тогда и лозунги, и призывы нужны не будут. Очень быстро наши сограждане забывают обиды – а может быть, в лучших традициях Достоевского, и упиваются своей обидой и все глубже стремятся в нее завернуться...

– Марина, – позвала Ида.

– Что?

– Горячую воду отключили, что ли?

Молчание.

– Не знаю, мам. Я холодной мою. Оставь, я сделаю.

Ида выключила воду, поскребла по рукам вафельным полотенцем и направилась к себе. В коридоре было совсем темно.

Она вошла, закрыла дверь и как была – в одежде – легла на кровать лицом к стене. Но уснуть не получалось. Ворочалась, укрывалась, поджимала под себя ноги, но в конце концов легла на спину, вытянувшись и стала смотреть на картину, висящую напротив кровати.

На картине был изображен залитый светом сад, расступающийся в стороны перед величественной усадьбой – колонны, арки. По аллее к усадьбе шли двое – мужчина и женщина. На женщине было пышное сиреневое платье, она держала над головой тонкий кружевной зонтик. Мужчина сжимал под мышкой трость. Сад пестрел яблонями и сиренью, по небу тянулись облака, вились птицы. Солнца видно не было, но оно чувствовалось в каждом штрихе. Усадьба казалась прекрасным дворцом, и было странно, что люди движутся к ней так размеренно и спокойно, а не бегут, сломя голову, так, будто сияющие колонны могут в любую секунду раствориться в воздухе и исчезнуть.

Картина была изучена Идой до мелочей – каждую веточку, каждый блик она могла бы объяснить и описать, а при желании – если руки не подведут – и воспроизвести; в молодости она недурно рисовала. Картина была привезена из дома, а там она висела в гостиной, а подарил ее Идиному отцу сосед-художник, высокий бородатый старик со смеющимися глазами, любивший петь в своей мастерской. Отец относился к картине как к семейной реликвии, показывал ее гостям и несколько раз перевешивал с места на место в поисках наиболее выгодного освещения.

Старика-художника вскоре выслали за границу. Перед отъездом он раздал почти все свои работы знакомым.

Ида смотрела на колонны, небо, сирень – и душа ее успокаивалась, приходила в доброе, тихое состояние. В окно застучал дождь, с ним слился тянущийся из-за двери треск. Робко вступили часы. Наконец, комнату окутал равномерный шум, растекающийся по потолку, стенам, кровати и картине. Аллея вздрогнула и потянулась куда-то вверх, колонны склонились набок, и Ида провалилась в забытье.

Снилось поле. Ида шла, загребая босоножками траву, а над ее головой носилась туда-сюда крохотная пестрая птичка и тоненько щебетала. Ида шла и шла, шла и шла, а поле все не кончалось. Птичка то улетала вперед, то возвращалась, то металась зигзагами, то выводила ровные круги – но не отдалялась. Горизонт таял, сливался с небом, в воздухе стоял душистый аромат черемухи и вишни, было тепло и тихо. Ида шла все быстрее, надеясь хоть куда-то да выйти, но ничего не менялось. Она не чувствовала ни усталости, ни раздражения – на нее наваливалась тяжелая, гнетущая скука. Если бы не птичка, она бы давно остановилась и села на траву, но щебет звал ее вперед, подталкивал, торопил.

В дверь позвонили, и Ида проснулась.

Дождь закончился, за шторами посветлело, холодный луч пересекал комнату, деля ее пополам. В коридоре слышались голоса.

Ида прислушалась, и губы ее растянулись в улыбке – голоса принадлежали правнучкам. Она опустила босые ноги на пол и села.

– Ида! Ида! – звенело в коридоре.

– Не шумите, бабушка отдыхает! – прозвучал строгий голос.

Дверь тут же распахнулась, и в комнату, смеясь и взвизгивая, влетели правнучки. Они увидели Иду и бросились к ней.

– Ида! Ида!

Ида рассмеялась и прижала девочек к груди.

– Ну, ну, – только и сказала она.

А они уже пели о своем, перебивали друг друга, одергивали, хохотали, делились последними новостями, впечатлениями, ожиданиями. Ида улыбалась, кивала и гладила девочек по волосам.

– Привет, ба, – заглянула в комнату внучка, дочь Марины. – Как здоровье?

– Ничего.

– Идите за стол! – послышалось из кухни.

– Маша, Даша, – строго скомандовала внучка, – бегом мыть руки.

Девочки вспорхнули и, смеясь, исчезли в коридоре.

– Это хорошо, что ничего, – сказала внучка Иде, – слава богу. Мама волнуется.

– Все в порядке, правда.

Внучка ободряюще потрясла кулаком и вышла.

Ида встала, взяла со столика зеркало, поднесла к лицу. Лицо как лицо.

На кухне стоял гвалт – девочки шумели, внучка пыталась их успокоить, Марина звенела тарелками, на плите шипело, над холодильником распевался телевизор, а где-то за всем этим неторопливо, с чувством собственного достоинства тянул свою шарманку радиоприемник. Когда Ида вошла, ее обдало жаром и шумом.

– Ида! Ида! – запищали девочки.

Сережа отодвинул стул, Ида села, положила ладони на стол. Потом спрятала их.

– Они и понятия не имеют... – доносилось с подоконника, – их даже жалко, честное слово... Как можно...

Марина под вздох всеобщего восхищения опустила на стол огромное блюдо.

– Вуаля, – щелкнула она пальцами.

– Так, папа, – возмутилась внучка, – выключай-ка.

Она протянула руку, выхватила откуда-то из-под тарелок пульт, и телевизор погас. Стало чуть тише.

– Мам, ты представляешь, – заговорила Марина, раскрывая холодильник и выуживая из него салаты, – Клавдия не перестает удивлять. Теперь она так щедра со своими голубями, что мне приходится сметать *пшено* с нашего подоконника.

Она сделала ударение на «нашего». Ида посмотрела на дочь так, словно хотела что-то сказать, потом лицо ее прояснилось и губы растянулись в улыбке.

– Ничего смешного, между прочим, – нахмурилась Марина, – не хватало только, чтобы эти... – она подернула плечами, – эти – у нашего окна вились теперь.

– Ма-ма, – потянула ее за рукав внучка, – давайте уже есть.

Марина всплеснула руками, засуетилась с сервировкой и наконец села – по левую руку от Иды.

И началось. Зазвенели приборы, зажурчали наполняемые бокалы, кухня наполнилась возгласами одобрения и комплиментами хозяйке. Разговаривали, смеялись, шутили, обменивались новостями, вспоминали былое. Девочки жужжали и хихикали, Марина жаловалась на Клавдию, внучка делилась школьными успехами дочерей, а Ида качалась на волнах всеобщего воодушевления и даже забывала про еду. Ее увлекало хороводом голосов, огней и запахов, звуки сливались друг с другом и превращались в птичье пение – даже приемник стал казаться серой, надутой птицей, глухо булькающей откуда-то издалека.

– ...и только после того, как я увидел, в каких домах они живут, я понял, чего же нам все это время не хватало... – клокотала птица угрюмым грудным баском.

Иде было хорошо – ее окутывала тихая радость, и казалось, будто горячий летний ветер вьется вокруг нее, гладит волосы, целует щеки. Ей вспомнилась картина с усадьбой и подумалось, что, наверное, вот так – спокойно и благостно – себя ощущают люди, на ней изображенные.

– Мама, – взяла ее за руку Марина, – ты чего?

Ида вздрогнула:

– Что чего?

– Ты как-то... не знаю... задумалась... – сказала тревожно дочь, – может, пойдешь полежишь?

– Нет-нет, – улыбнулась Ида, – все хорошо.

И повторила:

– Все хорошо. Правда.

Внучка о чем-то зашептала с девочками, а потом торжественно постучала вилкой о бокал.

– Внимание, внимание! – Она сделала важное лицо. – Сейчас перед вами выступят юные дарования Марья да Дарья со стихами Алексея Константиновича Толстого.

Девочки выпорхнули из-за стола и приземлились в центре кухни. Они защебетали между собой, по-видимому, проводя жеребьевку. Потом замерли. Даша вытянулась как струна и запищала:

Что за грустная обитель
И какой знакомый вид!
За стеной храпит смотритель,
Сонно маятник стучит;

Стукнет вправо, стукнет влево,
Будит мыслей длинный ряд;
В нем рассказы и напевы
Затверженные звучат.

Внучка кивала в такт каждой строке и смотрела с восхищением.

А в подсвечнике пылает
Догоревшая свеча;
Где-то пес далеко лает,
Ходит маятник, стуча;

Стукнет влево, стукнет вправо,
Все твердит о старине;
Грустно так; не знаю, право,
Наяву я иль во сне?

Вот уж лошади готовы –
Сел в кибитку и скачу...

Даша запнулась, зашевелила беззвучно губами, прижала кулачки к груди и умоляюще посмотрела на мать.
– Вспомина-ай, – строго протянула та.
Даша зажмурилась, потом выдохнула:

Вот уж лошади готовы –
Сел в кибитку и скачу, –
Полно, так ли? Вижу снова
Ту же сальную свечу,

Ту же грустную обитель,
И кругом знакомый вид,
За стеной храпит смотритель,
Сонно маятник стучит...

Внучка захлопала, к ней присоединились остальные.

– Замечательно! – воскликнула Марина.

– ...нет слов, просто нет слов... – проорчал из-за занавески приемник.

– И вправду, недурно, – закивал Сережа, – вот только...

Все повернулись к нему.

– Вот только как, по-вашему, может пылать догоревшая свеча?

И он засмеялся.

– Па-па! – одернула его внучка. – Ну хватит. К Толстому придрался.

Дочка, прекрасно. Умница.

Ида смотрела, как обе девочки смущенно переступают с ноги на ногу.

– Так, очередь Марьи, – объявила внучка, и все притихли.

Маша сделала шаг вперед, развела ручки, вскинула подбородок – и в этот самый момент в дверь позвонили. Маша ступевалась и надула губки.

Марина встала.

– Я открою. Не переживай, дорогая.

– Я не переживаю, – пискнула Маша и насупилась.

Марина вышла – и вернулась через минуту.

– Ну и кто бы это мог быть? – воскликнула она. – Наша общая знакомая, баба-«орнитолог» Клава. Мама, – она повернулась к Иде, – она не немая. У нее кот пропал, спрашивает, вдруг мы видели. У нее еще и кот есть!

Сережа фыркнул.

– А мы, кстати, видели какого-то кота, когда к вам шли, – сообщила внучка. – Рыжий такой, у подъезда сидел.

Марина вздохнула. Потом посмотрела на часы.

– Это когда было... Так-так... Ладно, что ж делать – пойду сообщу. А ты, милая, – она наклонилась к Маше, – без бабушки не читай, пожалуйста. Мне очень интересно.

Маша кивнула. Марина улыбнулась и вышла. В кухне воцарилась тишина. Только приемник ворчал:

– И только потом мы все поняли, что же это значило и какие перемены нас теперь ждут...

– Так, дети, – нарушил молчание Сережа, – вам мороженого положить?

Девочки захлопали в ладоши и сели на свои места.

Пока уплетали мороженое – пломбир с клубникой – вернулась Марина. Все это время Ида сидела молча и слушала, как разговаривали о чем-то Сережа и внучка.

– Не знаю, пап, – говорила та, – не думаю, чтобы это было так важно.

– Это ты сейчас не думаешь. А когда подумаешь – тью-тью. Время-то и ушло.

В кухне появилась Марина.

– Время ушло, а я пришла, – сказала она и поставила чайник на плиту.

– Что с котом? – спросила внучка.

– Нашла. Нашли, – поправилась она. – Ходили вниз, ловили беглеца. Он забился под твою, Сережа, машину и вылезать не желал. Какой-то мальчонка помог – всю дорогу пузом вытер, но достал.

Девочки рассмеялись.

– А кот-то... Мокрый, грязный. Она заохала, в охалку – и бегом наверх. Намыливает его, наверное, теперь. В бане парит.

– Подружились? – засмеялся Сережа.

Марина смерила его презрительным взглядом.

– Вот еще. Пока не перестанет этих... – она поджала губы, – этих птиц потчевать... Да вы посмотрите только!

Все обернулись. По подоконнику, выпятив грудь, маршировал крупный голубь.

– Это вообще уже ни в какие ворота... – сообщил приемник.

– А ну брысь! – подпрыгнула к окну Марина и стукнула по стеклу ладонью.

Голубь опешил, попятился назад и, захлопав крыльями, ретировался.

– Мама, спокойнее, – мягко сказала внучка, – разобьешь ведь.

Марина цыкнула на нее через плечо. На плите заскрипел чайник.

– Так, кто пьет чай?

– Дети только что ели мороженое. Им, наверное, не надо.

Марина открыла шкафчик и извлекла из него три белоснежные фарфоровые чашечки.

– Хорошо, – сказала она, – в таком случае, юные леди, идите с прабабушкой в ее комнату и поиграйте там. А нам тут надо устроить маленькое заседание, – она повернулась к Иде. – Мама, понянчишь?

Ида с готовностью кивнула, Сережа помог ей подняться. Девочки побросали ложки и выпорхнули в коридор.

Когда Ида вошла в свою комнату, девочки сидели на ее кровати и шептались. Мягко светил абажур, комната тонула в полумраке.

– Ида! Ида! – закричали девочки. – Расскажи сказку!

Ида улыбнулась, прошагала к окну. Проспект полыхал фарами и вывесками, которые скользили, качались и плыли в темном океане петербургского вечера. Небо было затянуто тучами – ни луны, ни звезд. Еле заметно мерцали шпили и башенки, стекло было усеяно каплями, но дождь уже прошел.

Ида сдвинула шторы, повернулась к правнучкам и устало опустилась на табурет.

– Сказку? – переспросила она. – О чем?

Девочки пожали плечами.

Сонно стучали часы, из кухни тянулся ручейком негромкий разговор. Где-то наверху послышался шум – будто двигали мебель. Ида помолчала немного, собираясь с мыслями – и начала:

– Когда я была такой же махонькой, как вы... Ну, может, чуть-чуть постарше, – я, как и вы, ходила в школу. И была у меня подружка. Ира. И непоседа ведь, хоть стой хоть падай, – болтушка, хохотушка. Ну точь-в-точь – вы.

Девочки радостно заерзали.

– Семья у Ирки была – прямо самые настоящие богачи. И была у них дача – чтоб, значит, в ней летом жить. Снимались с места всей семьей – и туда. А там – беседки, яблоньки, лес рядом.

– У нас тоже дача есть, – сказала Маша.

– И вы – богачи, – улыбнулась Ида. – Ну, вот и позвала меня как-то Ирка на эту самую дачу. Родители между собой все порешали загодя – и нашли, что, дескать, не такая уж это и плохая идея. И ребенок воздухом подышит, и родители спокойны – не по улицам шастает, а вроде как под присмотром. Привезли меня, с рук на руки сдали – и уехали. А я, значит, осталась. За столом посидели, в куклы поиграли, Ирка и говорит: «Пойдем, – говорит, – в лес гулять». «А отпустят?» – спрашиваю. Меня-то в строгости держали, ни-ни. «А мы быстро, – отвечает, – и глазом моргнуть не успеют». Ну, отчего ж не погулять? Вышли тихонько да и ну себе мимо домиков, через поле – а там и лес.

По подоконнику застучало – снова пошел дождь.

– Ну и, как это положено, значит, в сказках, мы, понятное дело, заблудились. Ходили-бродили, плутали-плутали – не видать тропинки. Ирка тогда села у дерева – и рыдать. А за ней и я. Сидим – рыдаем. А тут вдруг раз! – тучи, ветер, солнце скрылось. Темно, хоть глаз коли.

Ида перевела дух. Слова медленно ползли друг к другу, слипались в предложения и караванами ползли по комнате.

– Вдруг слышим – шаги будто бы. Да тяжелые такие, точно медвежьи. Мы в дерево вжались – ни живы ни мертвы. А шаги все ближе. Бух, бух. Выглянуть бы да посмотреть – кто там? – а страшно же. Дрожим, точно листки.

Девочки прижались друг к другу и распахнули глаза. Ида смутилась – еще испугаются.

– Вдруг, откуда ни возьмись, вылетает птичка – махонькая такая, пестренькая. Прямо перед лицом у нас затрепетала – и ну в сторону. А потом опять к нам. И снова в сторону. Зовет будто. «За ней!» – командует Ирка. Она та еще командирша была, только дай волю. Я соглашаюсь. А шаги уже совсем близко – бух-бух, точно кто поленом по земле громыхает. Вскочили и – только пятки сверкают. А птичка перед нами. Ирка бежит и говорит мне: «Надо бы обернуться, обернись, Ида, пожалуйста». А у меня самой душа в пятки ушла. «Нет, – отвечаю, – ты уж будь добра сама обернись». Ну и бежим не оборачиваясь. А шаги не отстают. Ирка тогда мне говорит, прямо на бегу: «Ты, Ида, меня прости, что я тебя в такую авантюру ввязала, это все я виновата». А я ей: «И ты меня прости, Ира. За что-нибудь». В чем-то я ведь перед ней наверняка провинилась, не могло же такого быть, чтоб совсем без вины. И бежим дальше.

Голоса на кухне зазвучали громче, послышался свист чайника.

– А лес, глядим, понемногу-то редет. Вот уж вдалеке и свет показался, яркий такой. Птичка все шустрее, мы тоже, а позади грохот стоит, будто деревья падают. Страсти-то какие! Ирка, вижу, – отставать. Я ее за руку – раз! И тащу за собой.

Девочки задержали дыхание и даже привстали на кровати.

– Р-раз – и выбегаем из леса. И оказываемся как будто в саду или вроде того – цветы разные, кустики. И солнце – яркое-яркое, ну прямо слепит. Тут грохот за спиной и затих.

Девочки выдохнули.

– Ну, мы, понятно, продолжаем бежать – все остановиться не можем. И попадаем на широкую аллею. По обеим сторонам яблоньки, вот как у нас на даче, вишенки. Мы, значит, замедлились, идем шагом, пытаемся отдышаться – а совсем остановиться боимся. Обернулись на лес – ничего не видать, все как будто тихо. Идем, дрожим. Видим – в конце аллеи дом огромный, ну прямо дворец! Колонны, статуи, фонтан – все как полагается.

За окном завыл протяжно ветер, Ида вздрогнула.

– А птичка-то наша, смотрим, прямо к дворцу тому и летит. И нас как будто зовет. А мы уже еле ноги волочим. Но идти идем. Ирка мне говорит: «Наверное, в этом дворце живут король и королева». «Откуда ж им тут взяться, – говорю, – рядом с твоей дачей?» Пожимает плечами. А кругом – красота неопишуемая, куда ни глянь – все цветет, все пахнет, ветерок теплый, и как будто даже музыка звенит – тихонечко.

Дверь в комнату приоткрылась.

– Вы чего в темноте сидите? – спросила внучка, потом посмотрела на девочек. – Юные леди, собираемся.

Девочки рассеянно посмотрели на мать, потом принялись возмущаться.

– Никаких но. Мне рано вставать. На выходных дослушаете, так ведь, ба?

Ида кивнула и поднялась с табуретки. Затекшие ноги ныли.

В прихожей, когда кутались в куртки и шарфы, девочки подскочили и зашептали:

– Ида, а что вам было за то, что вы убежали?

Ида задумалась.

– Я целый месяц по грядкам дежурная была – с утра до ночи. А Ирку – вообще вон, за границу увезли. Чтоб неповадно было.

Девочки понимающе закивали.

– Мам, пап. Спасибо за гостеприимство, – сказала внучка. – Ба, будь здорова.

И она подняла вверх сжатый кулак.

– Как доберетесь, позвони, – сказал ей Сережа.

– Хорошо.

Обнялись, перецеловались. Девочки прижались к Иде, чуть не свалив ее с ног.

Ида потрепала их по головкам, пожала маленькие теплые ладошки. Дверь открылась, пахнуло подъездом, холодом и табаком, потом закрылась – и в прихожей стало вдвое меньше людей.

– Мама, ты как?

– Ничего.

– Пойдешь спать? Поздно уже, – она подошла к матери и пригласила ей ладонью волосы. – Как посидели с детьми?

Ида засмеялась.

– Просто замечательно.

– Ну и славно, – сказала Марина. – Они тебя так любят. Просто души не чают.

Ида пожала плечами.

– Это потому что ты такая добрая, – улыбнулась Марина и поцеловала Иду в щеку. – Спокойной ночи.

Она закрыла дверь на ключ и посмотрела в глазок. Потом все разбрелись по комнатам.

Ида расстелила постель, подошла к окну, зачем-то погасила торшер. Отодвинула штору, всмотрелась в темную пелену. Тучи поредели, в проталинах мерцали звезды. Луна выглянула на мгновение и тут же спряталась. Проспект жил обычной шумной жизнью.

Ида вернула штору на место, подошла к кровати, легла. Было тихо. Глаза привыкли к темноте, и Иде показалось, что комната расширяется – стены, потолок, часы, картина расходились куда-то в стороны, точно устали друг от друга.

Иде было грустно. Она стала прислушиваться – не идет ли дождь? – и скоро уснула.

ГНЕЗДО

Дед стоял за печь горой. «Не позволю!» – стучал он кулаком по столу и грозил длинным крючковатым пальцем. Отец хмурился, тер виски, но против деда не шел. Мать не вникала.

Печь занимала треть кухни – белая, теплая и мягко-шершавая – будто намелованная. Гости шарахались от нее, боясь за пиджаки и свитера. Дед смеялся над ними и хлопал по теплым бокам, демонстрируя чистые ладони.

На печь можно было забраться – по узенькой лесенке сбоку – и устроиться под самым потолком на цветастом одеяле, в горячем и сухом «гнезде». Так говорил отец. Из гнезда можно было наблюдать за происходящим на кухне – например, за тем, как кот пытается стащить со сковороды отбивную, а мать гоняет его полотенцем, или за тем, как спорят затемно отец и дядя, поглощая в жутких количествах терпкий черный чай. Дядя шевелил усами, горячился и яростно жестикулировал, а отец откидывался на стуле, складывал руки на груди и посмеивался. В гнезде можно было дремать, укутавшись, можно было прятаться ото всех, вжавшись в стену и затаив дыхание, можно было листать истрепанную, пыльную книгу.

А дед в гнезде слушал радио.

Зайдет на кухню; под мышкой личное сокровище – древний увесистый радиоприемник под дерево, с вытягивающейся вверх антенной и отломанным регулятором громкости. Повертит головой, покряхтит, вытянет из хлебницы пару сухарей. Потом вздохнет – и давай карабкаться по лесенке. Охая, ахая, хрустя суставами, устроится в гнезде, завернется в одеяло, поскребет бороду, щелкнет приемником и прижимает его к уху – иначе не услышать ничего. Чинить не дает, боится. «У вас, – говорит, – руки кривые. Вам такой тонкий инструмент доверять нельзя».

– Выкинь ты свой тонкий инструмент, батя, – смеется отец, – рухлядь же. Мы тебе новый купим, японский.

– В голове у тебя рухлядь, – отвечает дед, – а радио не трожь. В японском души нет, а сей мне прилюбился уже.

Отец все смеется, не спорит.

По негласным правилам деду касательно гнезда предоставлялось безусловное преимущество. Если он заставал на печи нас с братом, то шикал, делал страшное лицо – и мы исчезали.

Радио дед мог слушать ночами напролет. Покрутит ручку, найдет волну, прижмется к коробке – и замирает. Тогда кругом него хоть земля трясись, ничего не видит. Дядя зайдет, поздоровается, а дед не отвечает – весь там. Ночь на дворе, свет погасят, тихо; только и звуков что кот ворочается в углу, в печи что-то потрескивает да дед сопит из-под потолка. А то возьмет да и захрапит – раскатисто, с переливами. Отец тогда

выходит из комнат, расталкивает старика, уговаривает перебраться в постель. Дед спросонья ворчит, но соглашается – сползает по лесенке, ковыляет к себе.

Однажды зимой, ближе к вечеру, спрятался я в гнездо. Выжидаю. Зашла мать, помыла посуду. Постояла у окна. За окном яблоня, за яблоней сарай, за сараем забор, а там небо в облаках. Солнце заходит уже, выглядывает из-за забора, разливается огнем. Все белым-бело, на сарае снежная папаха. Облака ну прямо горят. Хорошо. Мать постояла – постояла, да и ушла.

За окном пробежал с соседскими мальчишками брат. Летят снежки, слышен хохот. Я жду.

Появился кот. Прошагал деловито до обеденного стола, запрыгнул, обнюхал. Перебрался на подоконник, уселся носом к стеклу – наблюдает.

В печке трещит тихонько. Солнце – за забором уже, а облака все горят. Жду.

Зашел отец, выпил воды, сел у окна. Потрепал кота по спине, проворчал что-то задумчиво. Уходя, подмигнул мне. Конспирация провалилась. Но это отец, от него не спрячешься.

Жду деда. Над забором небо еще пылает, но выше – густая синь. Яблоня гладит голыми ветвями крышу сарая, на папaxe остаются борозды. Кот сидит неподвижно, наблюдает за редкими снежинками, которые ползут сверху вниз. Я наблюдаю за котом. Наблюдаю, наблюдаю да и засыпаю, размякший от тепла и тишины.

Просьпаюсь от голосов.

– Не позволю! – скрипит дед и стучит кулаком.

Он сидит на табуретке и вертит в руках приемник. Горит лампа, за окном темно. Напротив деда сидит отец, пьет чай. От чая выются ниточки пара, отец дует на кружку, цедит понемногу.

– Батя, – басит он, – ну на что она тебе?

– Не позволю, – бубнит из-за бороды дед. – Вот помру – хоть весь дом разбирайте.

– Так ведь и соседи уже смеются, ни у кого такой нет.

– Пущай смеются.

– Что ж ты так уперся-то?

– Захотел и уперся. Твой дед эту печь ставил, душу вкладывал. Погляди, как мальчикам она по душе, – тычет пальцем на меня. Я юркаю обратно.

Отец вздыхает.

– Чудак ты, батя, стал, – говорит, – совсем чудак.

Дед не отвечает, вертит приемник. Потом зевает, встает и шаркает к печи.

– Слезай, шалупонь.

Я тру глаза и соскальзываю вниз. За мной увязывается кот, пытается прошмыгнуть в комнаты. На пороге оборачиваюсь и вижу, как дед жметя ухом к приемнику. Его лысая макушка, голая и ровная как шар, блестит в свете лампы.

Кот воспользовался моим замешательством и просочился-таки вглубь дома.

Той ночью меня разбудил грохот – дед, слезая с печи, оступился и упал с лесенки. Сломал руку. Пока отец собирался и грел машину, дед сидел на кровати и тихо постанывал. Мать кружилась вокруг него, поднося вещи, воду, помогая влезть в куртку.

Вошел в комнату отец – в верхней одежде, не разувшись.

– Марш спать, – приказал он нам с братом.

Взял деда под локоть и повел в коридор.

Когда они уехали, мать зашла к нам и сказала:

– Я к соседке. Ненадолго. Спите или со мной пойдете?

Мы к соседке не хотели

– Ты за старшего, – сообщила мать брату и ушла.

Воцарилась тишина. В комнате деда горела лампа, и у нас, с открытой дверью, было совсем светло. Я не мог спать. Ворочался, мял подушку, а потом тихонько встал.

– Ты куда? – спросил сквозь сон брат.

– В кухню, – и я зашлепал босыми ногами по полу.

Из-за окна лилось сквозь занавески холодное белое сияние, но в кухне все равно было темно. Я зажег абажур и уселся за стол. В печи тихонько трещало. На подоконнике, свернувшись калачиком, дремал кот. В углу, под табуретом, лежал одиноко приемник с погнутой антенной.

Я нагнулся, поднял. Повертел, приложил к уху – там неразборчиво шипело. Погасил абажур, сунул приемник под мышку и полез на печь.

В гнезде было по-обычному жарко и сухо. Я вжался в угол и поднес приемник к лицу. Его пересекала белая полоса с цифрами и черточками. По полосе, если крутить ручку, полз маячок. Я принялся двигать его вправо-влево, то и дело прислушиваясь. Звук был ужасно тихим – ничего не разобрать. Наконец маячок добрался до какой-то заветной черточки – и до моего слуха донеслась более-менее отчетливо музыка. Я приник к гладкому пластиковому боку. Пели про пальмы, море и закат. Кухня плыла серебряными бликами, мерцала таинственно. Меня здорово разморило, я подтянул к подбородку одеяло и укутался в него.

После песни про пальмы диктор со смешной фамилией принялся монотонным голосом читать историю про какого-то мальчика, которого везли через степь в город. Мальчик сперва ехать не хотел и плакал, а потом только скучал и бродил по округе на привалах, а вокруг него суетились какие-то люди – приятные и не очень.

В глубине печи потрескивало, где-то в противоположном углу кухни завел свою песню сверчок.

А мальчик все ехал и ехал в своей телеге. День сменял ночь, вокруг кричали птицы, лаяли собаки, разговаривали, считая деньги, люди. Я сперва слушал внимательно, потом куда-то поплыл, – и не заметил, как уснул. Снилось мне, что я еду через степь и рядом со мной сидит дед. Он то и дело поворачивается, улыбается из-за бороды и показывает торжествующе ладони – то ли чтобы продемонстрировать их чистоту, то ли чтобы сказать, что с рукой у него все в порядке. Степь застелена ровным слоем шуршащей травы, вдалеке темнеют на фоне неба холмы. С неба тянется редкий снежок, тает, не касаясь земли.

Наутро отец привел домой рабочих – и они в два дня разобрали печь. Нам с братом до слез было жаль теплого гнезда – и мы плакали, сидя у деда на кровати. Дед здоровой рукой гладил нас по головам и бормотал что-то ободряющее.